

В поисках национальной научной идеи: от научно-технического прогресса — к экономике, основанной на знаниях

Можно ли говорить о российской науке последнего десятилетия иначе, чем на языке кризиса и распада? Позволено ли будет несколько лет спустя говорить о ней иначе, чем на языке волшебных инноваций и новой экономики? Эти вопросы вырастают из удивления, вызванного мирным соседством двух риторик, которые со всем авторитетом стремятся определять актуальное состояние российской науки. Кризисная риторика не принадлежит никому в отдельности, однако чаще и охотнее к ней прибегает руководство Российской Академии наук. Авторство второй риторики более отчетливо: это Министерство промышленности, науки и технологий, в которое весной 2000 г. было преобразовано Министерство науки. Два основных центра научной политики, противостоянием между которыми отмечена первая половина 1990-х, сегодня предпочитают демонстрировать сближение своих взглядов и намерений. Однако подобному соглашению о приличиях весьма далеко до пламенной патетики научно-технического прогресса, которая с середины 1960-х выполняла функции общего места (топика), где не без комфорта объединялись представители академической и отраслевой науки, промышленности и образования, Политбюро и Госплана.

Доктрина научно-технического прогресса, которая на протяжении более чем 20 лет работала как универсальное связующее звено, была изъята из обращения довольно решительно. Об этом можно судить по валу официально лицензированных публикаций, который иссякает как по команде. Отчетливый тематический разрыв в публикациях и законодательстве о науке приходится на пороговый период конца 1980-х — самого начала 1990-х. В частности, в библиографической базе ИНИОН по науковедению последние работы, посвященные научно-техническому прогрессу, датируются 1989 г. Обращение к бумажным каталогам библиотек несколько отодвигает эту границу: все менее многочисленные работы и диссертации, в заглавиях которых значится эта категория, публикуются вплоть до 1991 г., а единичные публикации (чаще диссертации) встречаются вплоть до 1995 г. В юридических актах можно наблюдать столь же отчетливый порог. Если в 1983 принимается постановление «О мерах по уско-

рению научно-технического прогресса»¹, дополненное в 1987 и 1988 гг., а в текстах постановлений 1987–89 гг. эта категория все еще употребляется как элемент рутинного бюрократического языка², то уже в официальных документах 1990–92 гг. она отсутствует³. Нет ее также в постановлении 1989 г. о создании недолго просуществовавшего Инновационного фонда⁴. Вместо «научно-технического прогресса» здесь и в других «новых» постановлениях используется категория «научно-производственного» (1989) и «научно-технического потенциала» (с 1991)⁵.

Оптимистическая категория «прогресса» замещается на гораздо более скромный «потенциал». Одновременно как неадекватное и откровенно ложное критикуется само представление о позднесоветском прогрессе. Узаконенные критики открыто заявляют об отставании и неэффективности советской науки, которые скрывались за браваурной риторикой 1970-80-х⁶. С той же критики неэффективной научной организации новое Министерство науки начинает в 1991 г. реформы⁷. В этом смысле, 1990–91 гг. — переломный период не только для системы официальных категорий научной политики, но и для всей советской организации науки. Внутринациональные затраты на научные исследования уже в 1992 г. составляют не более трети от уровня 1990 г., а доля бюджета, выделяемого на науку, снижается к 1994 г. в два раза. Это как нельзя лучше согласуется с картиной заката великой науки. Между тем, действительное положение дел не столь катастрофически величественно — скорее, кафкиански многослойно. Прежде всего, демонтаж затрагивает не науку как процесс производства знаний. Научная организация и ее бюрократия стремительно теряет вес в официальных иерархиях, поскольку при новом режиме наука превращается из фундамента государства в один из частных секторов либерализуемой экономики. Причем секторов убыточных и, в соответствии с новой официальной доктриной, требующих дальнейшего решительного преобразования.

Иными словами, в низвержении «прогресса» реализуется вовсе не отказ от великой науки и даже не вызов «старой» научной организации ради нее самой. Оно отрицает в первую очередь прежнюю роль науки и научности в обеспечении политического режима. Место, которое в национальном мас-

¹ Постановление Совета Министров РСФСР № 560 от 19 декабря 1983 г. «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве РСФСР».

² См., напр., крайне либеральное по своей интенции, но использующее эту категорию постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1102 от 30 сентября 1987 г. «О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование».

³ См., в частн.: Указ президента СССР № 627 от 23 августа 1990 г. «О статусе Академии наук СССР» или один из первых научно-политических указов президента России «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» 1992 г.

⁴ Постановление Совета Министров СССР № 1174 от 29 декабря 1989 г. «Об Инновационном фонде при Государственном комитете СССР по науке и технике».

⁵ Распоряжение Президента Российской Федерации № 9-рп от 3 августа 1991 г. «О мерах по более полному использованию научного потенциала региональных отделений Академии наук СССР».

⁶ См., напр.: Научные кадры СССР: динамика и структура / Под ред. В. Ж. Келле. М.: Мысль, 1991. С. 10–19.

⁷ Министр науки в 1991–96 гг. Б. Г. Салтыков укажет позже: «Мы совершенно ясно понимали, что... эпоха закончилась. Традиционная административная схема... работать не будет» (Пожертвовать частью, чтобы спасти систему // ИГ-Наука, № 2, 1997).

штабе ранее отводилось созидающей силе науки и ее творцам, ученым-естественникам, теперь занимает экономическая прибыль и ее заклинатели, эксперты-экономисты. В свою очередь, в категориальном аппарате самой научной политики место «прогресса» остается вакантным. «Научно-технический потенциал», который с 1970-х используется как категория вспомогательная и техническая (именно к его сохранению призывает кризисная риторика 1990-х), вряд ли способен исполнить роль идеологического фундамента. Хотя эту категорию нельзя называть и политически нейтральной. Скорее наоборот, ее использование в обосновании таких идеологически и организационно новых инстанций, как Иннофонд или РФФИ, а также в создании нового представления о научной политике как политике демократической и опирающейся на экспертизу, напрямую вписывает категориальный сдвиг от «прогресса» к «потенциалу» в триумф либеральной доктрины и либерализации всего официального политического курса. В т. ч. и поэтому «потенциал» не становится пунктом согласия между крупными силами – прежде всего Миннауки и РАН – конкурирующими за окончательное определение науки и научной политики. Он остается всего лишь «no man's land», которую символически осваивает и переписывает каждая из сторон.

Казалось бы, в 1991 г. категория «научно-технического прогресса», столь тесно связанная с советской историей, навсегда покидает верхние строчки политических классификаций. Действительно, она отсутствует в официальных речах или газетных публикациях 1990-х, сохраняясь разве что в сугубо технических приложениях, например, в наименовании статьи госбюджета «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу». В таком случае, что же должно было произойти, чтобы в своем послании 2002 г. президент РФ снова вспомнил о научно-техническом прогрессе и почти дословно повторил слова бывшего министра науки, либерального реформатора первой волны, сказанные десятилетием раньше: «Модель научно-технического прогресса прошлых лет, помпезную и архаичную одновременно, восстанавливать нецелесообразно»? Как водится, в научной политике вопросов больше, чем ответов. И чтобы в этом разобраться, нужно вернуться к началу.

В промежутке между 1991 и 2001 гг. в российской научной риторике господствуют фигуры кризиса и упадка. Начиная с разговоров в коридорах прежде бескрайней сети НИИ, заканчивая публичными обращениями руководства РАН, положение дел резюмируется примерно так: «Последнее десятилетие – время постоянной борьбы за выживание науки»⁸. Даже официальные правительственные документы допускают и, значит, вполне официально утверждают этот взгляд. Например, Концепция реформирования российской науки на период 1998–2000 гг. сдержанно признает, что «кризисные явления в научно-технической сфере весьма остры». Список примеров подобной риторики, пронизывающей вал текстов об актуальном состоянии науки, уходит в бесконечность. Воспроизведенные множество раз и в разных точках большой науки, эти восклицания сообщают: «сегодня хуже, чем было вчера». Иначе говоря, они подчеркивают отсутствие «устойчивого развития», не говоря уже о «неизменном прогрессе» прежней научной организации, для которой с конца 1950-х

⁸ *Месяц* Г. А. Спасти науку. М.: Наука, 2001. С. 3.

до середины 1980-х были характерны рост числа занятых, неизменное финансовое покрытие широкого спектра направлений и высокое положение научного работника среди прочих профессий⁹.

На деле, кризис научной организации, окрепшей в благополучное двадцатилетие 1965–85 гг., отнюдь не сводится к деградации прежних форм, внезапно открытых разрушительным внешним силам. Сбои в научной механике, прежде хорошо согласованной с базовыми политическими структурами, сопровождается появлением множества конкурирующих моделей и проектов научной организации, которые оснащаются более или менее удачными идеологическими обоснованиями. Некоторые из них остаются в фазе «безумной идеи», иные достигают официального признания, но вскоре обнаруживают свою несовместимость с еще не вполне ясными, но оттого не менее действенными принципами вновь складывающегося большого порядка¹⁰. И лишь немногочисленные, поначалу столь же негарантированные проекты за короткое время превращаются в неустрашимые опоры новой научной политики. Именно такими становятся государственные научные фонды РФФИ и РГНФ, созданные соответственно в 1992 и 1994 гг. — в самый разгар «смерти науки».

По мере формирования нового научного порядка происходит взаимная приписка конкурирующих организационных форм, которые, однако, не утрачивают отличительных черт, поскольку не исчерпываются разницей научных идеологий: конкурирующих представлений о науке как таковой, ее результатах, ее пользе и т. д. Вернее, подобные идеологические различия были и продолжают оставаться решающими в дебатах о научной политике и в отношениях между ее ведомствами. Однако они неустраимы именно потому, что вытекают из разницы форм и режимов работы этих ведомств, где наука получает свое конкретное и практическое (а не сугубо идеологическое) определение. Именно такие, одновременно технические и доктринальные, расхождения становятся основой крупных противостояний в научной политике 1990-х: острого напряжения между руководством РАН и Миннауки в первой половине 90-х или ведомственных дискуссий о научных приоритетах и конкурсном финансировании между Миннауки и государственными научными фондами во второй половине 90-х.

Иными словами, за видимостью «упадка» и даже «смерти» советского научного и, более широко, государственного порядка скрыты, по крайней мере, два разнонаправленных вектора: с одной стороны, снижение роли науки и научных ведомств в новых политических иерархиях и явный отказ от принципов научной организации 1960–80-х гг.; с другой стороны, гораздо менее заметное извне перераспределение сил в научной политике и формирование новой системы конкурирующих центров научной власти. Поначалу новый баланс сил крайне

⁹ Так, с 1940 по 1970 гг. средняя заработная плата работников научной сферы была самой высокой среди прочих профессий, к 1985 она оказывается на четвертом месте, но в абсолютном выражении продолжает расти, достигнув 202 руб. (*Ляхтин Г. А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. С. 190*).

¹⁰ Как, например, упоминавшийся Инновационный фонд, созданный еще в советском 1989 (и переучрежденный в 1991) как подведомственный ГКНТ центр «содействия ускоренной разработке и освоению нововведений в области науки и техники», но ликвидированный уже в конце 1992 г.; а также целый ряд принятых на Общих собраниях АН нововведений в отношении руководства, молодых сотрудников и т. д., и отмененных «самой жизнью».

хрупок, а исход борьбы между силами, которые пытаются навязать свою модель научной организации, неопределен. Так, реформаторское Миннауки стремится подчинить РАН требованиям самокупаемости и сократить ее численность; в свою очередь, руководство РАН стремится сохранить прежние позиции в государственной иерархии и нейтрализовать, а возможно и ликвидировать Миннауки. Оба крупнейших ведомства стремятся получить абсолютное преимущество в борьбе: от этого зависит, какая модель научной организации восторжествует и, в конечном счете, какое место в ней займет каждое из ведомств¹¹.

Схема общенациональной научной организации, продвигаемая Миннауки, отсылает к образцам «всего цивилизованного мира»: конкурсы, гранты, государственные научные приоритеты. Она предполагает децентрализацию научной власти, но одновременно сильнее привязывает национальную науку к положению государства на международном экономическом рынке. И вот, атакуя «громоздкую», «административно-командную» советскую науку и пропагандируя науку «компактную» и экономически окупаемую, либеральное Министерство наталкивается на сопротивление столь же ясных — одновременно технических и доктринальных — принципов, на которых строится организация РАН: базовое (а не конкурсное) финансирование, поисковые (а не коммерческие) исследования, административное (а не состязательное) распределение средств. Противостояние усугубляется генетическим разрывом: место министра науки, на которое с 1965 традиционно назначается один из вице-президентов РАН¹², академик-естественник, в 1991 занимает «всего лишь» заведующий отделом Института народно-хозяйственного прогнозирования, «даже» не доктор наук.

Вместе с тем, противостояние Миннауки и РАН вписывается в более широкие разломы, которые пересекают структуры государственной власти, лишены прежнего «прогрессивного» консенсуса. Первая половина 1990-х, которая завершается выборами под памятным лозунгом «Голосуй, а то проиграешь!» — период непрерывной борьбы между политическими силами и доктринами, которая нередко принимает симптоматический облик битвы «нового» со «старым». Такая конкуренция центров власти не только не снимает, но заостряет вопрос о новом консенсусе в интересах победителя. Пока новый баланс сил не оформился окончательно, общий консенсус невозможен. Но действует и обратная логика: «изобретатель» удачной формы консенсуса имеет больше шансов стать победителем. Договоры об общественном согласии, поиски новой национальной идеи — лишь частные, пускай и наиболее заметные попытки нащупать символическое выражение нового режима господства. В иных сферах, не исключая научную политику, происходит то же самое. И если «научно-технический прогресс» исчезает из политического репертуара, не оставив равнозначной замены, то «новые» силы перед лицом всего «старого» не перестают столь же остро нуждаться в доктрине, которая не только утверждала бы благоприятное для них положение дел, но и предвосхищала его неизменность в обозримом будущем.

¹¹ Об этом, уже покинув пост министра, свидетельствует Б. Г. Салтыков, для которого РАН остается главной угрозой для новой модели научной организации: «Сегодня реформа нашей науки в конечном счете упирается в реформу академического сектора» (Пожертвовать частью, чтобы спасти систему // ИГ-Наука, № 2, 1997).

¹² С 1966 по 1991 гг. это было место руководителя ГКНТ (Государственного комитета при Совете Министров СССР по науке и технике).

Наука приоритетных направлений и инноваций претендует на роль такой объединяющей и универсальной идеи от лица государства. Однако ее проблематичность очевидна для участников игры: носителем новой идеологии является лишь одна из конкурирующих сил — руководство реформаторского Миннауки. Поэтому в ходе противостояния, продлившегося до 1996 г., общая идея, на которой сошлись бы противники, так и не утверждена. Острое напряжение разрешается со сменой всего правительства Черномырдина. Либерального министра науки в новом кабинете сменяет академик-естественник (который сразу избирается вице-президентом РАН), а само министерство теряет вес в государственной иерархии, будучи снова преобразовано в госкомитет¹³. Фактически, ситуация возвращается к началу 1960-х, когда полномочия между двумя ведомствами были четко разделены: Академия наук становилась центром управления фундаментальными исследованиями, а ГКНТ — координатором отраслевой науки. Баланс сил изменяется, и относительная победа РАН вносит коррективы в риторику министерства. С 1996 г. центральное место здесь занимают две примирительных линии: инновации как основа ведомственной доктрины¹⁴, и фундаментальная наука (находящаяся в ведении РАН) как приоритет национальной политики. Консенсус достигнут, но это не более чем компромисс, о чем свидетельствуют и сами участники прежнего противостояния¹⁵.

Во второй половине 1990-х обе доктринальные линии, которые отражают этот старый-новый баланс сил, развиваются параллельно. С одной стороны, прославление фундаментальной науки и, одновременно, утверждение кризиса российской науки вообще. С другой, утверждение экономической логики в науке, подкрепленное техническими «изобретениями»: формированием списка приоритетных направлений и критических технологий, созданием инновационных центров, проведением министерских конкурсов. К концу 1990-х инновации превращаются в фирменную марку Миннауки, но эта доктрина распространяется почти исключительно на подведомственную территорию — отраслевые и прикладные разработки. Тогда как фундаментальные исследования остаются для либеральных реформ запретной территорией. Однако в начале 2000-х категория «инновации» появляется в выступлениях президента, т. е. на новом уровне государственной иерархии, с которого фактически воспроизводятся основные положения министерской доктрины конца 1990-х, но уже применительно ко всей науке. С того же уровня звучит отповедь «помпезной и архаичной» модели научно-технического прогресса. Может быть, снова изменяется баланс сил?

Именно так. В 2000 г. Миннауки преобразуется в Министерство промышленности и науки. Собственно научные подразделения перемещаются вниз во внутриведомственной структуре. Но в целом объединение науки с промышленно-

¹³ В 1997 г. новому ГКНТ возвращается статус министерства.

¹⁴ «Инновационная политика является мощным рычагом, с помощью которого предстоит преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией» (Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 гг., одобрена постановлением Правительства РФ № 832 от 24 июля 1998 г.).

¹⁵ В частности: *Салтыков Б.* Реформирование российской науки: анализ и перспективы // Отечественные записки, № 7, 2002. С. 40.

стью приподнимает новое ведомство в государственной иерархии, что приводит к экспансии доктрины за прежние ведомственные границы. От инноваций, которые способны привести к самоокупаемой науке, происходит форсированный скачок к инновациям, которые сделают эффективной экономику в целом. Поиск национальной научной идеи вступает в новую фазу. На деле, речь идет уже не столько о науке как таковой, сколько о производственном росте и новом государственном благосостоянии. Только в отличие от лозунгов 1930-х, этот утилитарный смысл эвфемизируется: не «наука на службе практики», а «экономика, основанная на знаниях» (ЭОЗ) – конструкт, позаимствованный у идеологов «цивилизованного мира», «knowledge based economy». Предостережение же президента снова обращено к руководству РАН – наиболее авторитетному источнику кризисного взгляда на российскую науку и хранителю принципов научной организации 1960-80-х. Ведь именно они остаются исходной плоскостью в определении «кризиса» и именно они столь мало соответствуют «новым условиям».

С высшего уровня государственной иерархии «прогресс» советского образца снова вводится в политический репертуар – уже как абсолютно негативный полюс. Ему противопоставляется «новая экономика», ЭОЗ. Какую альтернативу прогрессу она предлагает, и предполагает ли она вообще какую-нибудь альтернативу? Явное противопоставление, казалось бы, исключает прогресс из новой идеологической конструкции, однако за модернизированным, с электронным отблеском, фасадом обнаруживается та же идея. Сверхоптимистическая доктрина ЭОЗ предполагает новый экономический скачок и овладение международными рынками благодаря новому технологическому витку. Научные разработки, направляемые государством и частным капиталом, призваны лечь в основу производства и сократить затраты на традиционную продукцию, а также вызвать к жизни целые новые отрасли. Иными словами, речь идет о научной революции по заказу, время между пиками которой должно резко сократиться – пропорционально экономическому и юридическому обеспечению и корректности менеджмента. Происходит эквивалентная замена старому «прогрессу»: на его место и под другим именем найден новый.

Окрепшая и заигравшая новым престижем инновационная доктрина встречает гораздо более живой отклик со стороны различных игроков. Помимо прочего, она с готовностью подкрепляется предостерегающе-многообещающими заверениями экспертов: «Перспективы развития страны в целом и ее отдельных территорий зависят от того, какое место в системе кооперации инновационного уклада и распределения сверхприбылей инновационной экономики займет Россия»¹⁶. Даже руководство РАН предпочитает признать обнадеживающий смысл доктрины: «России предстоит построить новую экономику, способную стать фундаментом ее общественного благосостояния и оборонной мощи»¹⁷. Наконец, она получает развитие в речах президента: необходимо «встроиться в мировой венчурный рынок, рынок капитала, обеспечивающий эффективный оборот научных продуктов и услуг»¹⁸. От этой риторики уже веет

¹⁶ Шедровицкий П., Тулицын А. Инновационный сценарий для России. Приглашение к диалогу (на сайте ЦСР «Северо-Запад»: www.csr-nw.ru).

¹⁷ Осипов Ю., Рогов С. Лицом к науке // Известия – Наука, 12 октября 2001.

¹⁸ Послание президента РФ к Федеральному собранию 2002 г.

давоскими горным воздухом и глубокой синевой дорогих костюмов, но фактически это — возврат к еще более ранним принципам, к реформаторскому катехизису Миннауки начала 1990-х. Показательно, что в 2001–2002 гг. «инновации» вписываются в ту самую риторическую форму, через которую прежде определялась «наука». Во второй половине 1990-х риторика науки как национального приоритета — ибо «уровень развития науки... напрямую определяет эффективность экономики»¹⁹ — неизменно воспроизводит декларации Доктрины развития российской науки (текст принят в 1996 г.). С начала 2000-х в официальной и экспертной риторике прежняя «наука» все явственнее замещается актуальными «инновациями». То есть в ритуальные формулы «Х — залог эффективной экономики», «Х — основа государственной мощи», на место «Х» с самым серьезным видом подставляется новая категория. И циркулирующие в официальном языке 1990-х тропы получают новую жизнь, освященные административными полномочиями более весомых участников: единого министерства промышленности-науки и президента.

Как может показаться, в научной политике намечаются контуры нового идеологического консенсуса. Однако внутри него остается место вопросам и неуверенности. Прежде всего, сомнительным с точки зрения исхода борьбы за принципы научной организации новый консенсус выглядит для руководства Академии наук. Даже в эвфемизированной форме, ЭОЗ возвращает к принципу «науки на службе практики», т. е. угрожает сохранности структуры РАН и ее положению центра фундаментальных исследований. Кроме того, эксперты, охотно включившиеся в конструирование новой идеологии, признают, что понятие «инновации» не имеет отчетливого практического референта: для основы новой научной организации оно слишком расплывчато, а для основы радикального политического курса слишком банально. В пределе инновации сводятся к созданию нового, а это, как доказывают излишне усердные апологеты инновационной экономики, существует от века. Впрочем, подобная смысловая разреженность не мешает утверждать, что именно инновации составляют основу современного экономического роста.

Показательно также, что в российском варианте «инновационная экономика» и «экономика, основанная на знаниях» используются как синонимы. Между тем, в оригинальной версии ЭОЗ обладает весьма ограниченным смыслом, напрямую связанным с бумом интернет-технологий и завышенными оценками перспектив информационного рынка на рубеже 1990-х — 2000-х. Именно они на некоторое время делают политически доходным лозунгом в Западной Европе и США «новую экономику и интернет». Весной 2000 г. этот лозунг официально провозглашается на Лиссабонском саммите, когда «лидерами ЕС была обозначена новая и довольно амбициозная цель — превратить Европу в регион с наиболее конкурентоспособной и динамично развивающейся экономикой, основанной на знании»²⁰. При этом ОЭЗ связывается прежде всего, если не исключительно, именно с развитием интернет-технологий, оцененным наиболее эйфорически. Очень скоро становится ясно, что информационный

¹⁹ Куртвичников М. Производительная сила общества // Индустрия, № 4, 1999.

²⁰ Смит Б. Общество, основанное на знании: политика Европейского Союза // Информационное общество, № 4, 2002.

бум — дутый. Программы корректируются. Российская научная политика, уже в начале 1990-х по возможности синхронизированная с европейской, также медленно мутирует. Вернее, становится более двусмысленной. Не превращается ли волшебная ЭОЗ лишь в парадную риторику для чиновников «нового типа» и «независимых экспертов» — в то же, чем была «научно-техническая революция» с конца 1960-х в исполнении Академии общественных наук? Заметны некоторые тому признаки.

Наконец, успех ЭОЗ в качестве национальной научной идеологии сильно страдает при попытке ее последовательной реализации. Даже если неувязки в основах доктрины устраняются за счет калькирования европейских моделей, ее осуществление грозит обнаружить собственную исходную декларативность. Механика идеологии, саморазрушающейся по мере практической реализации, основана на двух факторах: одном специфически российском, другом более общего порядка. Общий фактор состоит в том, что циклы даже прикладных научных разработок не определяются только экономическими и юридическими инвестициями, и нельзя достичь десятикратного научного роста, просто вложив в десять раз больше средств, обеспечив коммерческий менеджмент или подняв абстрактную производительность научного труда (остается также вопрос о единицах ее измерения). Переход от логики научной игры к логике экономической окупаемости создает принципиальный порог для любой технологической революции, особенно революции по заказу, что и доказывает пример советского «научно-технического прогресса». Экономически обеспеченная система научных исследований в Западной Европе, рассчитанная на скорейшее приближение к ЭОЗ, также демонстрирует сбои на микроуровне, подобные проблемам в советской научной организации.

Так, реализованная в форме тематических конкурсов, которые объявляют органы Европейского Союза или американские фонды, она приводит к тому, что больше шансов на победу получают не производители нового знания, а эксперты по новой научной доктрине и профессионалы по составлению заявок. Умелые менеджеры с обеих сторон: представители (меж) государственной научной бюрократии и некоторые руководители научных учреждений, — находят друг в друге партнеров, которые образуют относительно устойчивые и взаимно полезные сети. Научные чиновники обнаруживают лояльных исполнителей под разработку «нужных» тем, а руководители научных инстанций — источник финансирования, благодаря которому можно существовать в прежнем режиме. Таким образом, предполагаемые дивиденды от экономически и политически эффективной науки, которые в новой доктрине официально замещают механику взаимного признания ученых, в свою очередь в немалой степени замещаются машинерией неявных соглашений и взаимных услуг, цементирующих научно-бюрократические клиентелы.

Специфически российский фактор, который ставит под сомнение реализм нового консенсуса, напрямую связан со списками научных приоритетов и критических технологий, призванных экономически окупиться в ближайшей перспективе. Речь идет даже не о правилах формирования самих списков, место в которых — отдельная и вполне весомая ставка для научного администратора. А о разновидности ведомственного прагматизма, на которой основывается отбор приоритетов и технологий. Селективная государственная поддержка

исследований (в противовес «сплошному фронту») призвана компенсировать ограниченность научного бюджета. И, в соответствии с доктриной, любая практическая поддержка разработок попадает в своеобразную «вилку»: с одной стороны, необходимо поддерживать направления и технологии, которые способны обеспечить преимущество в международном экономическом соревновании, с другой стороны, затраты на эту поддержку должны быть минимальны. В условиях нехватки научного бюджета «не реалистично ориентироваться на области, которые требуют очень больших капиталовложений»²¹. Что остается? «Ориентироваться на области, где требуется очень большая интеллектуалоемкость»²². Но что это за области, способные привести к победе в экономическом соревновании, которые при этом развиваются без серьезных инвестиций? Подобный прорыв к новой экономике снова заставляет думать о некоем волшебстве.

Практическую логику, скрытую за риторикой участия в международном состязании, можно понять, взглянув на результаты отбора. В 1998 г. первый список критических технологий, в согласии с тем же принципом экономии бюджета, был сужен. Из него для скорейшей коммерциализации были отобраны наиболее перспективные: «утепление многоквартирных домов», «доступное жилье», «новое отопление», «создание высокооктановых бензинов из факельных газов», «медицинская радиодиагностика», «витамины и добавки», «предотвращение катастроф»²³. На что указывает этот краткий список? Отнюдь не на передний край мира технологий. Максимум, на что он рассчитан — на точечное обеспечение национальной экономической безопасности, понимаемой как удешевление и улучшение качества некоторых потребительских продуктов на внутреннем рынке по сравнению с импортными аналогами.

Со времени первых решений и их оценок миновало несколько лет. Изменился баланс сил, доктрина эволюционировала, список организационных «изобретений» расширился — вплоть до уличной рекламы инноваций. Обновленная инновационная доктрина претендует на роль нового консенсуса. Однако предпринятая в 1998 г. попытка реализовать те же принципы оказалась более чем скромной. И сейчас между их реалистичным приложением и восторженной риторикой ЭОЗ уже видится слишком большая дистанция. Как изменится баланс сил? Куда в этой связи эволюционирует доктрина? Как скоро произойдет эффект саморазоблачения нового консенсуса? Как водится в научной политике, вопросов больше, чем ответов. Пытаясь найти ответы, можно было бы снова вернуться к началу. Но это сделают сами игроки. История поисков национальной научной идеи далека от завершения. И, возможно, «научно-техническому прогрессу» переменчивая политическая игра предоставит еще несколько странных жизней.

²¹ Фурсенко А. А. Эффективная наука для эффективной экономики (интервью) // Отечественные записки, № 7, 2002. С. 67.

²² Там же.

²³ Подробнее см. на сайте РИНКЦЭ: www.extech.msk.su/s_e/region/law/lists.